

Изо всех Централов Франции Фонтевро, пожалуй, наиболее волнующий и зловещий. Именно здесь суждено мне было изведать самое глубокое отчаяние и скорбь, и я знаю, что заключенные, побывавшие в других тюрьмах, испытывали — лишь только речь заходила об этой — чувства и переживания, сходные с моими. Не стоит и пытаться понять природу этого странного воздействия на нас: быть может, объяснение следует искать в прошлом — таинственное старое аббатство, — или «виноват» сам облик тюрьмы, ее стены, увитые плющом камни, все эти каторжники, отправлявшиеся по этапу в Кайенну, заключенные, имевшие репутацию самых озлобленных и отчаянных, само ее название, — какая, в конце концов, разница! — но ко всем этим многочисленным доводам добавлялся еще один, имеющий особенное значение для меня: в годы моего пребывания в колонии Меттре именно она, эта самая тюрьма, была неким храмом, святилищем, куда устремлялись детские наши мечтания. Я явственно ощущал, что эти стены хранят — подобно тому, как шкатулка для просфоры сохраняет ее свежей, — само обличье будущего. Когда пятнадцатилетний мальчишка, каким был я в ту пору, играя, обвивался вокруг приятеля в своей подвесной койке (я полагаю, подобно тому, как суровость жизни побуждает нас к поиску товарища, так и суровость

каторжного бытия толкает нас друг к другу в порыве любви, без которой мы не сумели бы выжить: несчастье — это своего рода любовный эликсир), он знал, что им суждено стать конечной формой этого будущего и что этот заключенный, приговоренный к тридцати годам, и был последним воплощением его самого. Фонтевро сияет еще (хотя намного бледнее и спокойнее, но все-таки сияет) тем самым светом, что в черной сердцевине этой тюрьмы когда-то излучал Аркамон, приговоренный к смерти.

Перебираясь из тюрьмы Санте в Фонтевро, я знал уже, что Аркамон ожидает здесь исполнения приговора. Сразу же по прибытии я был захвачен тайной одного из моих прежних товарищей по Меттре, который сумел наше общее приключение довести до предела, до пика: славной и почетной смерти на эшафоте. Аркамону «повезло». И это самое везение какого-то высшего, неземного порядка — не то что банальное богатство или почести — вызывало во мне изумление и восхищение, какие испытываешь обычно перед чем-то совершенным (даже если это совершенное просто и безыскусно, все равно оно — чудесно), а еще страх, охватывающий обычно невольного очевидца магического действия. Быть может, преступления Аркамона и не отозвались бы с такою силой в моей душе, не знай я его так близко, но моя страсть к красоте и совершенству настоятельно требовала насильственной смерти, более того — смерти жестокой и кровавой — как идеального завершения собственной жизни, а мое стремление к святости с чуть приглушенным сиянием (что мешало моей гипотетической смерти называться героической в общепринятом понимании) заставляло меня втайне остановить свой выбор на отсечении головы, которое в реестре смертей числится смертью самой проклятой и от-

верженной и осеняет избранного ею бенефицианта славой более сумрачной и более нежной, чем бархат танцующего, легкого пламени высоких погребальных костров; преступления и смерть Аркамона словно указали мне в подробностях, из чего состоит эта слава, которую удалось все-таки достичь. Такая слава кажется какой-то вне-, сверхчеловеческой. Не знаю, был ли хотя бы один казненный увенчан после своей казни (за свою казнь?) нимбом, как святые мученики или герои прошедших веков, зато хорошо известно, что самые невинные, самые чистые из людей, принявших эту смерть, почувствовали, как на их отрубленную голову опустился странный венец — каждому свой — с жемчужинами, вырванными из мрака сердца. Каждый знал, что в то самое мгновение, когда его голова упадет в корзину на опилки и ее подберет подручный палача, чья роль представляется мне весьма сомнительной, сердце казненного поднимут пальцы, затянутые тонкой материей стыдливости, и вложат в юношескую грудь. Именно небесного нимба я так страстно жаждал, но Аркамон получил его прежде меня, получил спокойно и без усилий благодаря убийству девочки, а затем, пятнадцать лет спустя, — убийству тюремного надзирателя в Фонтевро.

Я прибыл в Фонтевро, до предела измученный долгим и тяжелым путешествием, с кандалами на лодыжках и запястьях, в клетке бронированного вагона. Задница совершенно прохудилась. Резь становилась просто невыносимой из-за тряски, приходилось то и дело расстегиваться. Было холодно. Мы ехали по оцепеневшей, скованной зимой местности. Я угадывал, что поезд мчался сквозь застывшие поля, белую стужу, мутный свет. Арестован я был в самый разгар лета, и одно-единственное воспоминание, оставшееся у меня от Парижа, все не покидало

меня: совершенно пустой город, брошенный его жителями, словно в ожидании вражеского нашествия или стихийного бедствия, город, напоминающий Помпею, без полицейских на перекрестках, город, о каком может лишь мечтать грабитель, которого покинула удача.

В коридоре поезда резались в карты четверо жандармов. Орлеан... Блуа... Тур... Сомюр... Отцепленный вагон перетасили на другой путь, так для меня начался Фонтевро. Нас было тридцать, ведь такой вагон вмещает лишь тридцать клеток-одиночек.

Половина конвоя была приблизительно одного возраста: около тридцати, остальным было от восемнадцати до шестидесяти. Пассажиры поезда молча смотрели из окон, как нам связывали цепями руки и ноги, сковывали друг с другом попарно и грузили в полицейские фургоны, дожидавшиеся нас на станции. Я успел еще заметить грусть в глазах бритых юнцов, когда они смотрели на проходящих мимо девиц. С моим напарником по кандалам мы забрались в одну из таких узких клеток, похожих на стоящий вертикально гроб. Я отметил про себя, что полицейский фургон лишился того странноватого очарования горделивой невзгоды, которое пленило меня, когда мне впервые довелось в нем путешествовать; тогда он показался мне похожим на некий фантом на колесах, отправляющий в изгнание, груженный истинным величием, он уносил меня, занявшего свое место среди людей, согнутых в почтительном поклоне. Но теперь этот вагон потерял царственную горделивость беды. У меня осталось лишь светлое видение чего-то такого, что выше счастья или несчастья, что зовется просто величием.

И теперь, вступая в предназначенную мне клетку фургона, я чувствовал себя разочарованным и обма-

нутым, я казался себе визионером, утратившим свой чудесный дар.

Мы приближались к Централу, внешний облик которого я описать, пожалуй, не смогу — впрочем, так же, как и другие тюрьмы, ведь те, что были мне знакомы, я видел изнутри, а не снаружи. Наши клетки были закупорены наглухо, но по тому, как фургон, спокойно кативший по мощеной мостовой, вдруг резко подскочил, перебираясь через какое-то препятствие, я понял, что мы миновали ворота и я вступил во владения Аркамона. Мне доподлинно известно, что тюрьма расположена в самой низине, в адском ущелье, где из земли бьет таинственный родник, но ничто не мешает представить, что Централ возвышается на вершине огромной горы, порой я так и представлял себе его, на острой скале, а тюремные стены являлись продолжением этой скалы, словно вырастали из нее, образуя замкнутый круг. Эта высота идеальна — и в то же самое время совершенно реальна, и кажется еще более реальной оттого, что уединенность, которую она придает, — неразрушима и незыблема. Все прочее — ни стены, ни тишина — не значат ровным счетом ничего, про Меттре, в общем, можно сказать то же самое, только Меттре далеко, а Централ — высоко.

Уже стемнело. Мы проникли в самую толщу сумерек. Все вышли из клеток. Восемь надзирателей ждали нас, выстроившись в шеренгу на освещенном крыльце, как вышколенные выездные лакеи. А над самым крыльцом высотой в две ступени черную стену ночи пронзала огромная, ярко освещенная арка. Был праздник, вроде бы Рождество. Я едва успел рассмотреть двор и ограничивающие его черные стены, заросшие унылым плющом. Мы подошли к решетке. За нею находился еще один дворик, освещенный че-

тырьмя электрическими светильниками: лампочка с абажуром в виде широкополой вьетнамской шляпы — так выглядят все лампы всех исправительных учреждений Франции. В глубине двора, в непроглядной почти темноте, куда не достигал свет, вырисовывалось строение несколько необычной формы, добравшись туда, мы прошли через еще одну решетку, спустились на несколько ступенек по лестнице, освещенной такими же лампами, и вдруг совершенно неожиданно оказались в прелестном садике, квадратном, обсаженном кустами и с небольшим бассейном в глубине, а за садом виднелся монастырь с хрупкими изящными колоннами. Еще одна лестница, на этот раз высеченная прямо в стене, и мы очутились в белом коридоре, затем в канцелярии, где довольно долго пришлось дожидаться, пока с нас снимут наручники.

— Эй ты, слышь! Лапы давай!

Я протянул руку, вместе с цепями, которые опутывали ее, вверх потянулась жалкая, как плененная зверушка, рука того типа, с которым мы были скованы. Надзиратель долго искал замок наручников, когда он наконец нашел его и сунул туда ключ, я услышал негромкий щелчок капкана, неохотно выпускающего меня на свободу. И эта свобода как ступенька нового плена причинила мне первую боль. Стояла удушливая жара, страшно было подумать, что так же жарко может быть в камерах. Дверь канцелярии выходила в коридор, освещенный с жестокой четкостью. Она не была заперта на ключ. Какой-то заключенный на общих работах, явно подметальщик, слегка толкнув ее, просунул смеющуюся физиономию к нам и зашептал:

— Эй, приятели, табак у кого есть? Отсыпай мне, а не то...

Не закончив тирады, он исчез. Должно быть, неподалеку появился надзиратель. Кто-то прикрыл дверь снаружи.

Я прислушался, пытаюсь разобрать, не слышно ли криков. Криков не было. Никого не пытали. Я встретился глазами с одним из типов, прибывших со мной, и мы улыбнулись друг другу. Мы оба узнали этот шепоток, который на долгое время должен был стать единственным дозволенным нам способом общаться. Мы догадывались, что вокруг нас, за этими толстыми стенами, шла своя жизнь, скрытая, подспудная, бесшумная, но весьма бурная. Почему в полной темноте? Зимой темнеет быстро, и сейчас было всего-навсего часов пять.

Чуть погода приглушенный далекий голос, показавшийся мне знакомым — кажется, это был тот самый недавний заключенный, — крикнул:

— Привет, задница, это я, твой хрен!

Надзиратели у решетки конечно же услышали это, как и мы, но сохраняли невозмутимое спокойствие. Так, сразу же по приезде, я усвоил, что заключенный не может говорить нормальным голосом: или шептать, чтобы не услышали охранники, или кричать, преодолевая толщу стен и разлитую в воздухе тревогу.

По мере того как мы регистрировались — называли фамилию, имя, возраст, профессию, указывали приметы, ставили свою подпись под отпечатком указательного пальца, — нас всех отводили в раздевалку. Настала моя очередь:

— Фамилия?

— Жене.

— Плантагенет?*

— Жене, я же сказал.

* Фамилия Жене (Genet) омонимична второй части имени Плантагенет (Plantagenêt). (Здесь и далее примеч. ред.)